

Яков Кротов

**ВВЕДЕНИЕ
В ЖИЗНЬ**

13 413 СЛОВ

ЖИЗНЬ — ДОБАВЛЕННАЯ РАДОСТЬ

Есть так называемый «налог на добавленную стоимость». Это довольно нелепое название — с таким же успехом можно назвать новорожденного ребёнка «добавленными килограммами». Российские ленинисты-марксисты гнали эту добавленную стоимость тоннами и километрами. Но страна нищала. Было разумнее вообще ничего не производить, чем тратить природные ресурсы на никому не нужные стальные валенки, к тому же ржавыми уже в момент сошествия с конвейера.

Не всякая добавленная стоимость чего-то стоит, а только полезная, нужная человеку. У этого нужного есть одно общее качество: радость. Даже экономическая жизнь есть добавление радости. Не радуется — не жизнь, а нежить. Не только рекламщики могут сказать «мы продаём не товар, а мечту». Поэтому всякая военная промышленность есть раковая опухоль, а литература, музыка, кино — мощный экономический двигатель, если, конечно, без цензуры и не для деспотизма.

Экономика есть перевёрнутая пирамида — где-то в основании один человек, который придумал что-то позитивное, радостное, умное. Нарисовал быка на стене пещеры — и не просто нарисовал, а вдохновенно, там на стенах масса бездарных бычков. Спел песню. Придумал холодить мясо мамонта и стирать мамонтову шкуру. Одомашнил котеггов и запостил их в интернет, который тоже придумал.

Над этим человечком тысяча людей, которые используют его придумку — производят то, что он придумал, организуют производство, доставку, рекламу, стригут купоны... Но без него погибнет всякая экономика! Экономическая сила капитализма в том, что он облегчает бремя, которое давит творческого человека. Экономическая слабость в том, что бремя остаётся и периодически предложение отстаёт от спроса. Тогда начинается кризис перепроизводства. Не то выпускаем! Выпускаем футляры для накручивания усов, а уже все давно

наголо бреются, потому что человечек внизу придумал, что наголо — веселее.

Творец не просто творит то, что удовлетворит спрос. Творец открывает спрос, ибо человек в обычном состоянии не понимает, чего он хочет, на что у него спрос. Ему хочется на дискотеке попрыгать, а он, дурашка, лезет драться с кулаками на соседнюю деревню. Должны пройти века, прежде чем изобретут город с дискотекой и человек поймёт, что ему нужна дискотека, а не драка.

Творец не боится эксплуатации. Во-первых, эксплуатация тоже творческий процесс. Может быть радостью, может быть кошмаром. Пришедший на дискотеку человек эксплуатирует диджея, но диджей разве горюет? Только очень глупый творец может возмечтать скинуть со своих плеч пирамиду «эксплуататоров» и получать все деньги от своей выдумки прямо себе. Такой останется у разбитого корыта — просто психика не выдержит богатства. Такое бывало и, увы, будет бывать. Настоящий творец не боится и нищеты, хотя, конечно, ничего не имеет и против виллы с пиццей. Жизнь есть добавленная радость, но эта радость готовится и из серого существования повседневности, из болезней, и из горя, и даже из смерти.

Творец может иногда и на баррикады пойти — демократия ведь не «хуже всех прочих», как сказал один гусар, подавшийся в политики, а значительно лучше и веселее всех прочих. Но не всякие баррикады — к веселью, и мещанин тогда превращается в творца, когда начинает соображать, какие баррикады — путь к радости, а какие — преграда для радости. Да, творцы — из мещан, как бабочки — из гусениц, люди — из обезьян. И это отличный пример того, что эволюция — весёлая и творческая придумка кое-кого, в кого неприлично тыкать пальцем.

ЧЕЛОВЕК — МОРЩИНКА

Мир есть пространство, в котором нет места месту. Человек делает, вопреки миру, из пространства — место. Место — это пространство, которое наделено смыслом, и только человек внести этот смысл. Смысл не обитания, не проживая, а смысл больший — смысл любви. Место — это пространство, в котором любовь не просто игра случая, а сюжет, история, отличающаяся от инстинкта как бриллиант от графита. Непрактично — то есть, писать можно только на стекле, бумага же, на которой так хорошо пишется графитом, порвётся. Человек любящий мешает пространству, он вносит в него асимметрию, он словно прищипывает его, сминает, оставляя складки, словно мир всего лишь простыня. Здесь мы целовались, здесь ссорились, здесь мирились.

Точно так же человек творит время, которого в мире вообще нет, есть периоды полураспада и распада. Человек стягивает далеко отстоящие друг друга факты, перемальывает происшествия и на выходе из человека получаются события. Атомные часы материи превращаются в живые, корчащиеся, ползающие и целующиеся циферблаты лиц. Человек щедрый — он наделяет временем не только себя, он словно принц, который целует материальный мир, и тот превращается во вселенную-населенную, в жилах которой течёт история, и у самой бесконечности появляются красивенькие узлы, начала с крестиками и концы с бантиками.

Человек делает из звуков слова, из цветов краски, из мыслей идеи. Человек нарушает то, что кажется порядком, и появляется смысл. Смысл — это нарушенный порядок, да не абы как нарушенный, а со смыслом. Это трудно, поэтому каждый созданный — созданный, не найденный, смысл не элемент таблицы Менделеева, в природе его нет! — каждый новосозданный смысл бережётся, подхватывается, передаётся по наследству, ворует, развивается, преображается. Жить смыслом, который создан другим — нормально, это не воровство, как не воровство сосать грудь матери. Ненормально уничто-

жать смысл, а это бывает, и это и есть «зло», «насилие», «агрессия», «порабощение».

Тысячелетиями люди создают человечность из бессмыслицы материального мира, как ребёнок складывает листок, вырванный из тетрадки, и создаёт кораблик или самолётик. Создать хотя бы один дополнительный атом человек не может, но человек стягивает два атома, которые отродясь не бывали вместе — и новое вещество. Это — творчество через комбинирование, точнее, через рекомбинацию. Но смысл не есть соединение чего-то, уже бывшего, смысл появляется там, где человек бросается в жизнь как в пропасть и жизнь проседает, на ней отпечатывается человек. Насилие же пытается стереть этот отпечаток, изгладить смысл и человечность. Словно ребёнок пытается разгладить смятую фольгу от конфеты. Ребёнок потерпит поражение, какие-то складочки и полосочки останутся, но взрослый может победить, и это — смерть духовная, смерть человечности не физиологическая, но абсолютная. Земля безвидна и пуста, и парочка истребителей с ядерными ракетами носится над волнами.

Почему так поступает человек — почему вносит смысл и почему уничтожает смысл? Больше — вносит, ведь даже уничтожение смысла есть исключительно человеческое, слишком человеческое. Вулкан истребляет людей не потому, что хочет изгладить их с лица земли, вулкан и не подозревает, что есть лицо земли и люди, вулкан и о себе не подозревает. Прыщ и прыщ, гной земной попёр. Человек истребляет людей — или хотя бы и не людей, а идеи, мысли, память — потому что он человек, у него идея истребления, защиты-обороны, покорения, может быть — безопасности, рая на земле, неважно, это идея, а не прыщ.

Бесчеловечность, и та — доказательство человечности, пусть от противного. Попытка уничтожить время, разгладить место, превратив его опять в бездушное пространство, — всё это от поиска смысла, приведшего в пропасть. Что же, не создавать смысла, чтобы не упасть в пропасть? Так не искать смысла означает создать такую пропасть, в сравнении с которой любое людоедство, освящённое лицемерием и страхом — пир духа. Создавать смысл, перекраивать смыслы, рисковать тем, что смысл будет убийственным, мелким, вонючим, — но продолжать, потому что нет смысла — нет человека, а только ножки, ручки, огуречик и экран с псевдо-осмысленными буквами и картинками. Создавать смысл, мять мироздание, чтобы мироздание пе-

рестало быть зданием и стало лицом, на котором люди — морщинки, и мир подымает веки, начинает смотреть, то лукаво, то грустно, и внутри мира возникает та жизнь, которую не видно ни в микроскопы, ни в телескопы, но которой каждый кормится и которой каждый кормит каждого.

ТЮТЕЛЬКУ — В ТЮТЕЛЬКУ!

На международном конгрессе туннелестроителей обсуждают технику прокладки туннелей встречным способом. Как двум бригадам с противоположных концов горы выйти навстречу друг другу с наибольшей точностью? Выступает немец: «Благодаря использованию лазеров в Германии добились того, что расхождение не превышает метра». Выступает японец: «Благодаря использованию компьютеров точность удалось повысить до пятидесяти сантиметров». Выступает русский: «А у нас рулетка, и ничего: либо тютелька в тютельку, либо два туннеля».

Русская эта рулетка не только русская, судя по американской остроте насчет принципа четности: есть один правильный способ сделать что-либо, но человек всегда пробует два способа, оба крайние и крайне неправильные, и это называется творчеством. Впрочем, признать крайности крайностями можно, но это ничуть не облегчает вложение тютельки в тютельку, потому что золотая середина — никогда не между крайностями. Изучение гомосексуализма и лесбиянства не поможет понять, что такое нормальный брак. Чем подробнее мы будем изучать садизм и мазохизм, тем дальше мы будем от понимания того, что хочется считать нормой.

Крайности вовсе не обязательно порочны. Например, в истории письменности было две крайности: в Индии писали на пальмовых листьях, в Месопотамии на глиняных табличках. Если бы в этих странах вовсе не писали, вот это была бы порочная крайность (и она бывала во многих странах, о которых мы, естественно, уже никогда ничего толком не узнаем). Если бы пытались записать все происходящее, и это была бы крайность. Но до такого безумия еще ни одна культура не доходила.

Тем не менее записывать всё на листьях, которые гниют (а во влажном климате и довольно быстро гниют), — близко к тому, чтобы не записывать вовсе ничего, так что историки Индии поэтому довольно несчастные люди. Если в Индии и был свой Геродот, его труд

не сохранился. А записывать на табличках или, в особо важных случаях, на камне — означает записывать навечно, но лишь самое важное. А кто решает, что — важное? И в результате история вавилонян известна немногим лучше, чем история древних индийцев. Правда, мы хорошо знаем, какой хотели бы видеть вавилонскую историю вавилонские владыки. Без этого знания можно было бы преспокойно обойтись.

Серебряная середина между пальмовыми листьями и каменными таблицами — пергамент, а золотая середина — это бумага, именно потому, что бумага не на вес золота. Бумага — остроумное превращение дерева в подобие легкого и тонкого камня. Но ведь это же не тютелька в тютельке, это все та же тютелька, достаточно дорогая, чтобы обычное частное лицо не имело возможности оставить миру память о себе. Один экземпляр автобиографии вряд ли сохранится, а издать книгу все-таки довольно дорого, да и книга не вечна.

Тютелька в тютельку в данном случае — это интернет. Не компьютер, а система компьютеров, принадлежащая всем, но при этом и каждому — и в то же время не принадлежащая никому в отдельности. Только в этой системе частное лицо может увековечить себя без больших затрат, не обращая внимания на сопротивление материала или его износ. Только в этой системе информация всегда доступна для всех (а если какая-то информация засекречена, то она уже не в этой системе и выглядит довольно глупо, как бубнение под нос какого-нибудь сумасшедшего, не желающего общаться с окружающими).

Правда, в этой системе вечное хранение информации зависит от доброй человеческой воли, но в этой-то человечности и есть правда! Каменная летопись, увековечивающая походы Сенахериба, существует сама по себе, не нуждаясь ни в ком — ну так и в этой летописи никто особенно не нуждается. В конце концов, ее ценность лишь в том, что она подтверждает записанное в Библии. Интернет и похож на Библию, которая тоже ведь много веков существовала в устной передаче от одного человека к другому — как интернет существует в передаче информации от одного человека (с компьютером) к другому.

Жить «тютелька в тютельку», между прочим, не только трудно, но и опасно. Русского человека с детства приучают, переходя улицу, посмотреть сперва направо, потом налево. Нормально же, конечно, смотреть не направо и не налево, а перед собой, прямо. Если горит

красный свет, стоишь, зеленый — идешь. Нарисованы на асфальте белые полосы — идешь, не нарисованы — ищешь переход. Все это переносится и в политику: в России, голосуя, смотрят направо и налево, пугаются и голосуют так, чтобы не пустить к власти кого не надо. Посмотреть вперед, на суть дела — кто за какую экономику или политику, — это не для нас.

Классическим примером ротозейского обращения с тютельками может служить отношение людей к сторонам света. Запад и восток как объективная реальность подогнаны друг к другу идеально: где кончается один, там сразу начинается другой, пространства каждому уделено поровну и так далее. А люди сделали из Востока и Запада такие два туннеля, что и святых не вынесешь, в случае чего. Вот на всей планете запад с востоком сходятся, а у людей, извольте видеть, просто никак. Вон, восточные люди — сколько раз открывали Америку, заселяли, и каждый раз благополучно об этом открытии забывали и о переселившихся в Америку тоже. А западный человек со второй попытки так открыл Америку, что до сих пор остановиться не может.

Восточный человек предпочтет потратить время, лишь бы не тратить деньги. Западный человек предпочтет потратить деньги, чтобы сберечь время. Восточный человек и пространство предпочтет потратить на узкие переулки и крохотные клетушки, у него настоящая агарофобия, которая благополучно оправдывается: в узких улочках и маленьких комнатках тепло, весело и тесно, а на площадях только казнить удобно да перед начальством маршировать, с чем восточный человек готов смириться, если власть ему закуток оставит. А западный человек...

Впрочем, а есть ли он, западный человек? Иногда темной ночью, когда заснут телевизор на кухне и патриотизм в собственной душе, вдруг думаешь: а ну как нет вовсе никакого «западного человека», а просто живут люди в той самой тютельке, о которой так мечтается? Но это, конечно, было бы слишком обидно, если бы это было точно так.

НЕ ИСКУШАЙ КАРЛСОНА ТВОЕГО!

Милый анекдот, в котором престарелый Брежнев просит Карлсона передать привет Энгельсону, точен: в России, стране победивших марксистов, Карлсона знали лучше Карла Маркса. Из прочих порождений фантазии Астрид Линдгрэн с Карлсоном могла бы сравниться только Пеппи. У нее есть та же энергичность, а к тому же длинные ноги (недаром же у нее чулки длинные), отец — пират, абсолютная свобода и сундук с золотом.

Карлсон лучше Пеппи, так как он хуже: Пеппи слишком обаятельна и добра, она, собственно, не мечта ребенка, а ребенок, Малыш, только Малыш с идеальной семьей. (Идеальная семья, стараниями отцов, это как у Пеппи: пират-отец вечно отсутствует и только шлет сундуки золота.) Хороший человек, пусть даже он вечно за горизонтом, кристально ясен. Карлсон же таинственен, потому что он дурен до святости. Поэтому Карлсон остается интересным, когда все прочие герои детских книжек, от Буратино до трех мушкетеров, покрываются пылью. Он один — не обо мне, а о Другом, Другом во всем его приманчивом ужасе.

Другой — плох, и Карлсон весь плох, он страшный сон родителей и учителей, он ужас, летящий и во мраке ночи, и при свете дня. Завистливое, корыстное, эгоистическое, хвастливое, обидчивое существо. Тем не менее если кто-то достоин летать, то это именно этот мужчина в расцвете сил, не Пеппи, как вообще не маленькие или не очень маленькие дети.

Карлсон, разумеется, подвергался нападкам всевозможных ханжей, как и многие другие кошмарные герои сказок, из которых наименее социально и педагогически опасен Иван Дурак, и то лишь потому, что о нем прямо сказано «дурак». Это гонение на тайну доброго зла. Как будто мало в мире злого добра, добра ханжей и изуверов, так еще на нашу голову есть и доброе зло. Как его объяснить?

Доброе зло есть зло, у которого вынули корень. Этот корень — гордость. Настоящая, серьезная гордыня у Карлсона отсутствует

начисто. Мы это чувствуем и относимся к нему, как Маугли к старой Белой Кобре, у которой высох весь яд, и даже лучше, потому что чувствуем, что у Карлсона яду никогда и не было. Все его пороки — наносные, не фальшивые, а именно наносные. Говоря схоластически, акциденции без субстанции, а по-нашему, бутылки без вина, даже этикетки без бутылок. Как удалось Линдгрэн создать такой образ, есть чудо творчества. Она, разумеется, не первая, ибо Карлсон есть лишь детский вариант порочных героев и героинь английских романов XVIII столетия, которые были добры и милы, в отличие от окружавшей их ярмарки тщеславия. Конечно, доказать, что в Карлсоне нет гордыни, невозможно, как нельзя доказать, что есть гордыня в ханжах. Очевидное нужно очами видеть, а не доказывать.

Историки литературы вообще говорят, что некоторые ее жанры и шедевры, рождаясь для взрослых, постепенно оседают в детский мирок. То, что произошло с романами воспитания, намного раньше произошло со средневековой литературой, с благочестивыми баснями и аллегориями: они превратились в чудные, но все же детские шедевры Андерсена, а в нашем веке Льюиса и Толкина. Век полюбил Линдгрэн больше Льюиса, Карлсона больше хриstopодобного льва Аслана и даже больше толкиновского Фродо. И дело не в какой-то особой обаятельности доброго зла, а в особой опасности злого добра. Волк в овечьей шкуре опаснее волка в собственной шкуре или даже в генеральском мундире.

Между тем в паре «Малыш и Карлсон» Малыш именно носит овечью шкуру, с бешеной скоростью из нее вырастая. У него еще все акциденции добрые, а субстанция ощутима дурная. Он уже вполне Каин своему брату. Кто из нас захотел бы жить с таким Малышом и кто из нас таким малышом не был? Малыш не какой-то выродок, наоборот, типичный представитель рода человеческого, за которого нельзя поручиться, что не убьет, не украдет, не предаст. Все пустяки, которыми он грешен, которыми все грешны, бьют в самое существенное, что есть на свете, — в человеческое сердце. А страшные прегрешения Карлсона: взорванные машины, затопленные квартиры — это, если приглядеться, действительно «пустяки, дело житейское», ущерб материальный, но не имеющий в себе ни малейшего посягательства на чью-то личность.

Доброе зло точнее было бы назвать злым беззлобием. Корня зла в Карлсоне нет, а пороки-то налицо. Оказывается, однако, что пороки

без порочного корня уже как бы и не совсем пороки, а то ли карнавальная маска, то ли школьный скелет из пластмассы, в общем, нечто не страшное. Эти признаки без самого зла могут пугать, как и пластмассовый скелет может пугать (хотя ничего страшного нет даже в обычном скелете), как может пугать обжорство, пока мы не убедимся, что нас объедают не собираются, а наоборот, усадят рядом и обкормят.

Таких пластмассовых скелетов очень много в Ветхом Завете. Кого из знающих Библию хотя бы в пересказах не удивляло, как это Бог может «ожесточить сердце фараона» или устроить потоп — и при этом в Нем видят доброго и многомилостивого? А почему смог Карлсон ожесточить фрекен Бок или гонять воров по крышам прямо в руки полиции?

Михаил Чернолузский отчеканил:

Но Карлсон — он един во всей Вселенной,

Парит он над землёй и неустанно

Следит, чтоб всё нетленное — нетленно,

Чтоб плюшки с шоколадом непрестанно,

Чтоб плюти-плюти-плют в любое время,

И чтобы в землю — семя, ногу — в стремя,

А знамя — в пламя — ну его в зюзюку...

Аминь, аминь. Сеятель сеет, а солдат — тоже должен сеять.

Ветхий Завет призывал не искушать Бога; в самом начале Своего пути, в пустыне, этот призыв процитировал, обращаясь к сатане, Иисус (Мф 4,7). Но когда Христос заговорил не с сатаной, а с людьми, Он призвал их к другому: просить Бога, чтобы Тот не ввел в искушение человека. Кто научился не просить у Бога потопа для ближнего (а ближний всегда достоин потопа) — это первый класс. Остаётся научиться не топить ближнего самому — это высший класс.

Так что, Карлсон, милый Карлсон, сущий на небесах, прилети к нам и играй с нами, и прости нам приземленность нашу, как и мы прощаем заземляющих нас, и не введи нас в искушение быть Карлсонами, но избавь нас от фрекенбокства.

НЕ СТАВЬТЕ ВЕЩИ НА СТУПЕНИ!

Первый поезд, который пускали в Японии, показался японцам домом на колесах, и, входя в вагоны, почетные гости первого рейса сняли обувь — что по японскому обычаю полагается делать перед входом в дом. Обувь оставили на перроне как на пороге. Все были очень раздосадованы, когда не обнаружили своей обуви на станции назначения.

Человек, ставя себе какую-то жизненную цель, часто решает до достижения ее оставить кое-какую мелочь, облегчить багаж, чтобы удобнее было ехать. Хорошо, если дело ограничится «картиной, корзиной, картонкой». А вот, например, научная работа требует много времени — так почему бы не посидеть допоздна, а потом лечь, опустив молитву, кому нужна молитва, или посиделочки с женой-детьми, что вполне заменяет пару акафистов? Еще легче сберечь силы, не улыбнувшись лишний раз, не выслушав друга, не прогулявшись с детьми. Экономить, разумеется, приходится прежде всего на духовных ценностях — не на еде же и, особенно, не на питье же. Что за беда! на следующей станции всё доделаем.

Неудивительно, что человек у цели похож на себя, отправлявшегося в путь, не больше, чем гроб на колыбель. Удивительно, что часто до гроба доживает именно человек, а не тень человеческая, хотя на перроне оставлены были не сандалии. Отнюдь не сандалии! И перрон был не один... Человек сохраняет силы верить, надеяться, любить, хотя соответствующую мускулатуру не развивал годами. Не всегда неправы вокзальные плакаты: «Экономя минуту, теряешь жизнь».

Можно еще добавить: жизнь вечную. Страшно подумать, сколько совершенных рабочих, ученых, священников отзываются гулким звуком, когда Создатель стучится в их опустевшие сердца, — ведь идеала они достигли, оставив на перроне отправления слишком многое. Но, может быть, и не надо думать такие страшные думы? Зачем читать в чужих сердцах, у которых есть еще и презумпция невиновно-

сти, если под рукой свое собственное, а с ним, кажется, все в порядке?

После незадачливого знакомства с железной дорогой японцы, говорят, перестали относиться к вагону как к дому. Аккуратисты в любом другом месте, в поезде они позволяют себе бросать окурки на пол, плевать, мусорить. Где-то мы нечто подобное видели, и именно там, где взрослых людей предупреждают, чтобы они не ставили вещи на ступени эскалатора. А это означает, между прочим, что на финише мы не должны быть с пустыми руками. Это трудно: слишком легко решить, что самые чистые руки — это самые пустые, тогда как на самом деле пустота и чистота даже не антиподы.

НЕ ДИЧАЙ!

Американский историк Джек Голдстоун заканчивает свою книгу «Почему Европа» экскурсом о причинах экономических провалов многих стран. В числе прочего, он называет неправильно распределяемые инвестиции в образование, когда поощряют изучение права, гуманитарных наук, даже — с ужасом пишет он — теологии, а надо поощрять инженеров. Правда, он тут же оговаривает, что этого недостаточно — должна быть свободная экономика, в которой инженеры не просто обслуживают элиту, её автомобили, яхты, дороги и пр., а сами создают предприятия, целые новые отрасли, полезные для всех.

Идея разумная, но показывающая недооценку двух сфер: фундаментальных наук и гуманитарных дисциплин. Это чисто американская близорукость, которая ставит Эдисона выше Эйнштейна, а Эйнштейна ссылает в Голливуд.

Многие ли знают, что Эйнштейн — автор лучшего эссе о Пиранезе? Многие ли знают «Карчеры» Пиранезе, многие ли считают необходимым их знать?

Одни только инженеры беззащитны перед милитаризмом, перед тоталитаризмом, перед мошенниками от политики. Не просто беззащитны, а производят их так же произвольно, как все остальные люди.

Означает ли это, что правильная организация высшего образования — дело государства, и если государство это дело заваливает, то положение безнадежно?

Нет.

Образование — это жизнь, и за свою жизнь каждый отвечает сам. Образование так же касается самой сути человека как секс, но образование начинается раньше секса, проникает глубже, а заканчивается позже. Знание передаётся от одних людей другим как передаётся биологическая жизнь.

Поэтому ждать, что какие-то государственные чиновники организуют образование, — всё равно, что поручать государству организа-

цию сексуальной жизни. Да, именно так поступает человечество с древнейших времён — понимая под «государством» всякий иерархически организованный социум, начиная с нано-государство, семьи. Папа с мамой и любимого человека назначат, и в постель положат, и какие-то позы разрешат, а какие-то запретят. Дикость? Дикость. Что делать? Не дичать.

Читать, больше читать, учиться читать. Чтение может быть отдыхом, как секс имеет и «рекреативную функцию». Тем не менее, любовь не отдых, познание не отдых. Они — эрос. Оргазм на пляже, а не почёсывание подмышек, причём внешне никогда не скажешь, познаёшь ты или балдеешь. Самовоспитание, самообразование, познание себя и мира требуют постоянного выхода из себя, доверия к себе: я могу не балдеть, я могу не быть пошлым, я могу не тонуть в болоте. Болото внутри нас есть. Мир — не болото, но человек может в чистейшее голубое море войти как в болото и увязнуть там. Письменность — от иероглифов до интернета — это океан, как и секс, но как секс превращают в болото порнографии и кругового изнасилования, так книгами, интернетом, социальными сетями превращают в болото самовоспроизводящегося невежества, полужнания, которое хуже незнания самоуверенностью и агрессивностью.

Государство, люди, работа, усталость, — всё против самообразования, как и против секса. Какой секс после рабочего дня?! Голова раскалывается, лечь и умереть. Ну, лечь, потрындеть в фейсбуке и умереть. Не читать же на ночь Голдстона.

Что ж, не говорите, что вас не предупреждали. Динозавры вымерли, потому что не читали или читали только наугад вырванные страницы из книги культуры, — некогда было после тяжёлого дня работы теологом, инженером, изобретателем. Динозавры вымерли, потому что им некогда было быть людьми. Та же судьба подстерегает и гомо сапиенсов.

НЕ ЗАТЯГИВАЙ!

У кого не запутывались в клубок провода от наушников или микрофона, шнурки, цепочки, на которых крепится чашка кадила. Цепочки заслуживают особого упоминания, потому что острые уголки проволоки на месте сгиба звена цепляются друг за друга, так что цепочка запутывается безнадежнее нитки или верёвки.

Золотое правило распутывания резко противоречит инстинкту. Хочется потянуть нитку или цепочку — а нужно не тянуть, а ослаблять. Если кадила — не поднимать его, а сразу, обнаружив путаницу цепочек, положить. И подпихивать, освобождать, а не запутывать.

Конечно, притча притчей, а на практике невозможно предугадать, какое именно слово — затягивание, а какое — освобождение, какой поступок увеличивает запутанность, какой уменьшает напряжение. Более или менее надёжными являются термины «прощение», «терпение», «смирение», но ведь они же вечно извращаются — их требуют более от других, а не от себя, их требуют сперва от других, во вторую очередь от себя. Между тем, весь смысл смирения, прощения, терпения в том, что они — для внутреннего использования. Не «я жду прощения от другого» (и уж, подавно, не сатанинское «я прощаю себя»), а «я прощаю всех». Я смиряюсь и расслабляюсь, терплю и размякаю, лопаюсь наконец-то от гордыни и растекаюсь в лужу.

Развязывание завязавшегося — дело сердца самого завязанного. Себя сперва отпусти, себя не напрягай, — тогда, глядишь, и узел, в котором ты одна из ниточек, потихонечку начнёт распадаться. Ошибка в том, что кажется, будто прощение — то же озлобление, только направление меняется. Энергично злился, теперь энергично прощайся и смирайся. Да нет — и когда злобился, это было не от избытка энергичности, а как раз от лени духовной, а когда наступает время примирения, то бесполезно махать кулаками в противоположном направлении, надо перестать бояться, что без твоих усилий космос рухнет, просто разжать ладони, опустить руки, стать на колени и поехали в незнаемое...

Космос Холмса и вселенная Ватсона

В одном и том же 1896 году появились доктор Джекил с мистером Хайдом и доктор Ватсон с мистером Холмсом. Две парочки вошли в «золотой фонд», две книги стали «каноническими» до степени подростковости, а всё-таки одна явно лидирует.

«Подростковые», потому что это книги введения в жизнь, посвящения, книги инициации, книги, говорящие человеку, кто он. Их надо читать не то что до пенсии, а до школы, но до школы не понять. Школа есть первое преступление, совершаемое над человеком, которое в принципе не может быть наказано. То преступление, которое совершается, когда человека рожают, наказано быть может, и каждый ребёнок сущее наказание для родителей уже тем, что делает их именно родителями, а не просто людьми. Просточеловек не есть родитель, как простобог не есть ни бог, ни творец мира, ни дух, и в этом смысле правы агностики и те, кто предлагает просто не обращать внимания на любые религиозные слова. Игнорировать — лучший способ самообороны от навязанных извне стереотипов. Только вот родителей не проигнорируешь, а школу проигнорировать можно, её тысячелетиями вообще не было, но появилась она не просто так. Либо школа, либо домашнее, семейное воспитание — и тогда к преступлению быть родителем добавляется преступлением быть учителем. Это как если фальшивомонетчик вдруг займётся взламыванием сейфов — нормальные преступники всегда специализируются и другим не мешают, а то красть будет нечего.

Лучший способ отомстить родителям — не быть родителем. Разорвать цепь зла. Быть хорошим родителем не получится по определению, это как быть гуманным рабовладельцем или хорошим чекистом. Родительство от животного в человеке. Мы не должны приходить в мир таким унижительным способом. Отсюда мечтания об искусственном интеллекте — хочется научиться размножаться каким-то стерильным, высшим способом.

Ватсон и Холмс, Джекил и Хайд — идеальные люди, потому что они, как и подобает истинным джентльменам, появились на свет идеально, из головы авторов, а не из какой-то вульгарной матки. Искусственные интеллекты, не собирающиеся размножаться. У Ватсона была, правда, жена, но автор благоразумно её уничтожил. Динозавры

вымерли ровно по той же причине: развитие личности несовместимо с размножением. Развивается личность, а размножается безличность.

Все рассуждения о том, что эти две пары — голубые, суть пошлость и вульгарность. Это рассуждения докторов — доктора Ватсона и доктора Джекила. Рассуждения, исходящие из примата биологии, телесного низа, базаровщина. Есть вещи поинтереснее секса — например, быть человеком. Это вообще не пары, это один и тот же человек, просто для удобства понимания (то есть, самопознания) разложенный на основные составляющие.

Тут и обнаруживается превосходство Дойла над Стивенсоном. Продолжения Холмса-Ватсона требовали, в отличие от Хайда-Джекила, а вся-то разница в том, что Холмс раскрывает преступления, Хайд преступления совершает. Разница как между врачом и инженером — и создатель Холмса был врачом, а Стивенсон был инженером. Что преступного в технике? Ровно то же, что в скальпелях Джека-Потрошителя, прообразе Хайда, вполне медицинские скальпели, но используются не для лечения, а для расчленения и умерщвления. Тут чисто романтическое противопоставление жизни и смерти, «романтическое» в не самом приятном смысле пошловатости, когда жизнь, чувство, синтез ассоциируются всё с тем же размножением, а вечность, мысль, анализ — с убийством природы.

На самом деле, жизнь есть жизнь и в анализе, и в синтезе, и в дедукции, и в индукции, и в Холмсе, и в Ватсоне, поэтому делать из Холмса Хайда неточный литературный ход, а неточность всегда при долгом бытовании в культуре разрастается, и вот уже Стивенсон с Хайдом решительно отстаёт в скачке от Дойла с Холмсом, да что отстаёт — просто плетётся в конце, ну кто читает «Джекила и Хайда». Читают «Остров сокровищ», где то же самое противопоставление двух ипостасей личности выражено лучше, в виде сразу нескольких пар: сердечный (Джекил) доктор Ливси и бессердечный (Холмс) капитан Смолетт, сердечный (Ватсон) Джим Хокинс и бессердечный (Хайд) мистер Трелони, сердечный пират Бен Ганн и бессердечный пират Боб Сильвер.

Это совершенно не инь и янь, чёрное и белое. Это человеческое, которое всегда противоречиво, поэтому и живо какой-то удивительной жизнью, а если не противоречиво, то живой труп и ходячий гроб.

Холмс и Ватсон — два способа жить, и один без другого ущербны и превращаются в способы умирать, а то и убивать. Холмс — упро-

щение, анализ, разложение, от частного к общему, то есть, индукция. Ватсон, как ни смешно — дедукция, от общего к частному, от учебника акушерства к конкретной роженице, не разложение, а рождение, не упрощение, а усложнение.

Это вовсе не разрушение и созидание. Это очень соблазнительно сравнить с тем, что Достоевский писал о православии мрачного сердитого монаха и о православии светлого доброго монаха. Карамазов-старший, лукавый распутник, и Алёша Карамазов, светлый рыцарь, будущий Дзержинский.

Соблазнительно, но не стоит. Холмс вовсе не разрушение, в этом находка Дойла. Холмс и Ватсон не противопоставление науки и искусства, это две разных науки — о природе и о человеке. Да, человек часть природы, но природа это лишь условие человека, и человек, сводящий себя до природы, до биологии, оскотливает себя. Опускающийся до функции размножения и выживания, не может толком и размножиться, и выжить, потому что человек же, не обезьяна, человеческое не следствие обезьяньего. «Происхождение» налицо. Не «рождение Холмса от обезьяны», а «происхождение». Дьявольская разница! Тем не менее, человек должен сознать, что он — обезьяна, тогда он победит в себе скотское, которого в обезьяне вовсе нет, скотское, которое есть тень не скота, а человека.

Человек одновременно упрощает мир и усложняет.

Холмс — упрощает, превращая тёплую, разноцветную, населённую людьми вселенную в математический, физический, схематический космос.

Это обычное занятие исследователя. Михаил Бахтин взял карнавал и сделал его схемой, моделью всей человеческой жизни в целом и литературы в частности. Всё — карнавализация! Богатая жила. Как изобрести отпечатки пальцев — революция в розыске преступников. А вышло — нет. Преступники стали работать в перчатках. Сотни исследователей использовали бахтинскую модель для анализа, упрощения, схематизации, и получили интересные, неплохие результаты. Но преступника не поймали, потому что мир — не преступник, не космос, а вселенная.

Упрощение — превосходно, но горе упрощению, которое забудет, что оно — всего лишь Холмс, без Ватсона совершенно бессмысленный. Ведь Ватсон вовсе не подвиги Холмса описывает, Ватсон не популяризатор Холмса, Ватсон — доктор. Он лечит человечество от

невежества, от скуки, от бесчеловечности, и рассказы о Холмсе — превосходное лекарство. Но — всего лишь лекарство. Это наука о природе, не о человеке, и рассказ об этой науке призван не перечеркнуть человека, а развлечь человека и помочь ему познать себя.

Мир Холмса — мир преступления, скотства, убийства, мир Фрейда, где человек всё время мстит за свою несвободу, за своё происхождение, за то, что «я» не само по себе, а откуда-то, на чём-то завязано, имеет фундамент. Человек, обнаруживший, что он — следствие мира, родителей, школы, мстит — убивает, обкрадывает (а воровство — убийство-лайт), манипулирует. Возьмёт базуку и в родные пенаты.

Мир Ватсона — мир прощения, примирения, рождения, созидания. Холмс ведь не раз обращается к Ватсону как к идеальному суду присяжных, к суду чести, явленному в одном лице. Путь от частного к общему не ведёт к пониманию, ведёт лишь к познанию и, сам по себе, ведёт к отчаянию и разочарованию в людях (то-то Холмс наркоман или, в смягчённом виде, пчеловод).

Чтобы понять мир, надо его упростить, надо создать модель, но чтобы простить мир (а понимание всегда есть и обвинение, обвинение в несправедливости, во зле, в бесчеловечности — ведь только человек человечен, а мир... мир это космос) — чтобы простить мир, надо усложнить мир. Не просто вернуть миру сложность, которая утрачивается при моделировании (атом ничуть непохож на модель атома, и печень совершенно непохожа на твёрдый кусок пластика в игрушечной модели человеческого тела), а добавить миру сложности. Добавить от себя, от человека.

Человек происходит от мира, определяется средой, живёт на зарплату, но — именно живёт, то есть, что-то добавляет к миру. Корова жуёт траву и даёт молоко, человек проживает мир и даёт смысл.

Смысл важнее молока, и смысл не просто пережёванные впечатления, комбинированные и рекомбинированные, а нечто новое, и он не извне, он изнутри, смысл жизни — не дар общего частному, от космоса — человеку, а дар общему, космосу от частного, такого маленького, двуногого, млекопитающегося и млекопитающего, размножающегося самым нелепым и унижительным способом.

Впрочем, пилюли и презервативы с этим покончили. В свободе от размножения нет ни мужского, ни женского, по экранизациям кочуют миссы Холмсы и леди Ватсоны, и это прекрасно, всё иное — сведение человека к модели. Не хватает пустяка — избавившись от скот-

ства, не избавиться от самого себя, не выплеснуть вместе с водой духа, с прошлым — будущего, не превратиться в профессора Мориарти или в Джека-Потрошителя, а остаться неунывающим доктором Ватсоном, всегда готовым помочь родам, и трезвым мистером Холмсом, всегда готовым разыскать украденного младенца, сбежавшего мужа, побежавшую топиться жену и проглоченный рождественским гусём смысл жизни.

ПРОКРУСТОВА ЛЮБОВЬ

Есть такая вещь — когнитивный диссонанс. Говоря проще, от стереотипа и идола — к реальности. Есть в голове стереотип женщины, какую ты полюбишь. Или мужчины. Принц, алые паруса, узкие бедра, широкие плечи. Принцесса, розовое платье, широкие бедра, узкие плечи. Священник — ласковый, кроткий, ни во что не лезет, утешает, книг не читает, фейсбук и газеты не трогает.

Потом взял — полюбил. Стереотип хрясь — пополам. Ну, алые паруса ещё, может, в каком-то виде есть. Он, типа, носит красный шарф. Или у неё на одном из пальцев розовый маникюр, а остальные, правда, чёрные, и плечи у неё шире твоих. А священник строчит в фейсбуке один политфельетон за другим.

И тебе — наплевать. Начхать с высокой колокольни. Потому что — реальность. Да, это не Китай, куда ты плыл, это Америка, детка. Грейтэгейская до жути. Зато настоящее, зато твоё!

А пока сличаешь на соответствие стереотипу — значит, не твоё... Ищи дальше, но пока не найдёшь то, от чего стереотип станет безразличен и пойдёт на антресоль.

Самое скверное — когда человек таки подбирает себе возлюбленную на заранее установленное прокрустово ложе, правильной длины и ширины. Когда алые паруса — в самом деле паруса, сигара просто сигара, бриллианты не алмазы в небе, а просто брюлики, священник — почтенный старец, тупой и милый, а Бог — великий и могучий иже херувимы... Ох, эта прокрустова любовь, как она аукается и даже непонятно, кто от неё больше страдает — носитель или его жертвы...

СЧАСТЬЕ — ЭТО СДАЧА С СОЛИДАРНОСТИ

Солидарность есть базовое человеческое свойство. Солидарность, эмпатия, любовь, сострадание.

Зло начинается в момент короткого замыкания, когда это свойство целиком обращается на себя. Солидарность со своими несчастьями, сострадание себе, эмпатия себе, любовь к себе (не любовь себя, а любовь к себе — дьявольская разница, как между кометой, которая летит себе и летит, и кометой, которая летит к себе).

Все люди добрые, хорошие и пушистые. Различия и степень человечности исключительно в том, насколько это короткое замыкание — известное так же как гордыня или эгоизм — ликвидировано.

Целиком замкнутых нет, как нет и целиком разомкнутых. Один Бог свят. Главное различие даже не в степени человечности, а в том, насколько человек сознаёт свой эгоизм и понимает, что его существование имеет своим источником чужую доброту.

«Нормальный» человек похож на одного персонажа Лескова, заклеимённого фразой: «Барин хороший, да только дурной платить». Скупость нас губит. Мы отлично помним, сколько нам недоплатили, насколько нас обокрали-обсчитали, и совершенно не помним, сколько нам подарили, часто в виде платы, реальной платы за символическую работу или ненужную работу. В итоге мы похожи на продавца, который постоянно ошибается, давая сдачу — и это нормально, он же не робот, только вот ошибается он всегда почему-то в свою пользу.

Не страшно оказаться жертвой солидарности, страшно не дать сдачи, а сдачу-то надо давать не только тому, кто нам дал, а другому. Жизнь ведь, не магазин. Люди, а не весы.

Учитесь давать сдачу! Учитесь, давая сдачу, давать всегда больше, чем должны! Солидарность с тем, кто солидарен с нами, это полсолидарности, а настоящая солидарность это солидарность с теми, с кем никто не солидарен, и благодарность тем, кому ты ничего не должен, просто за то, что они есть и живы. Это и есть счастье.

ОБИТАЙ ОСТРОВ СВОЙ!

Человек — не остров. Человек — Робинзон Крузо. Когда умирает один человек, умирает всё человечество.

Когда необитаемый остров становится обитаемым? Не тогда, когда на нём селится Робинзон Крузо. Не тогда, когда на него приплывают туземцы съесть другого туземца. Не тогда, когда Робинзон спасает Пятницу и делает его своим слугой и учит веровать по Библии. Всё это время находящиеся на острове люди нацелены, во-первых, на господство друг над другом — и неважно, проявляется господство в поедании ближнего или в его обращении к Библии. Во-вторых, всё это время они нацелены на отъезд с острова на родину.

Нет никакой иной родины. Нет никакой другой земли. Один остров на всех. Это очень хорошая новость: простор не там, где много километров и есть, где спрятаться от другого, а там, где нет другого, а есть абсолютно равный тебе и абсолютно иной человек. Свобода не там, где можно убежать от рабства, а там, где не становятся рабовладельцем. Остров становится обитаемым, когда на нём начинают обитать, строить жизнь, а не других людей.

Немногие люди рождаются с осознанием того, что жизнь — необитаемый остров, где не на кого переложить ответственность, не перед кем отвечать, не на кого уповать, некого ненавидеть и некого бояться. Для этих людей свой груз, а для большинства жизнь во многом состоит из постоянного освобождения от безжизненности, от ложных надежд, от упования на то, что где-то за горизонтом есть настоящий, счастливый и удобный мир. Всё — здесь, и это всё — ничто. Полное одиночество и пустота. Жизнь растения или животного нуждается в почве, воздухе, корме, чтобы жить. Жизнь человека нуждается в пустоте, обогащается ею и в ней встречается с жизнью другого, не упраздняя пустоты, но творя в ней полноту.

ОПРЕДЕЛИ САМОГО СЕБЯ!

Чем более успехов делает наука в изучении человека, тем менее очевидности в определении человека. Человеческий язык изучают как изучают птичий щебет, как изучают сигнальные и знаковые системы, и в результате исчезает не специфика языка, а специфика человека. Человек отменяется — отменяется не бесчеловечностью, отменяется «научностью».

Конечно, эта «научность» имеет к науке такое же малое отношение как докеры к докторантуре. Это просто дилетантская философия, неряшливая, предельно идеологизированная эссеистика, выход за пределы профессиональной компетенции и попытки своё мировоззрение представить даже не мировоззрением, а собственно наукой.

Вот здесь и разумно определить, что такое наука — наука в современном смысле слова, отличная от самых великих научных открытий античности. Можно быть учёным в отсутствие науки, и может быть наука в отсутствие учёных.

Наука в современном смысле слова есть, конечно, разновидность речевой деятельности, наука неотделима от языка и речи. Любые исследования и эксперименты осуществляются на основе языка и ради языка и носителей языка.

Противопоставление фактов и слов, реальности речи — ложное, хотя не бессмысленное. Оно возникло в ходе очередного рывка («революции») науки вперёд, когда «схоластика» стала восприниматься как нечто антинаучное, как болтология, не интересующаяся фактами и отвергающая реальность.

Конечно, никаких фактов, помимо выраженных в словах, для науки не существует. Факт есть реальность, выраженная в слове. Это слово может принимать вид математической формулы, чертежа, знака, но всё равно между реальностью и научным фактом стоит слово. Стоит не как пропасть, а как портной.

Конечно, не всякое слово есть научное слово, наука тем и занимается, что организует эволюцию речи от бытовой, приблизительной, к максимально точной. Тем не менее, суть науки даже не в стремлении к точности. Максимально возможная точность — продукт науки, а не наука. Наука же есть коммуникация, диалог. Именно этим «современная наука» отличается от деятельности гениев донаучной эпохи. Гротендик, возможно, переоценивал себя, называя себя новым Эвклидом, но он точно был более деятелем науки, чем Эвклид, и это намного важнее. Двое Эвклидов могут не в два раза больше, чем один Эвклид, а в три раза и более. Что ещё важнее, двое Эвклидов могут избежать ошибок, которых не избежит один Эвклид.

«Воспроизводимость экспериментальных данных», которая является для современной науки одним из ключевых понятий, и есть сжатая формула, обозначающая суть науки как общения, диалога и коммуникации. Ведь данные опытов выражаются в языке, сообщаются через речь и обсуждаются через неё. Более того: научный язык, «язык академического сообщества» есть речь, ориентированная на истину через толерантность к ошибке. Не к заблуждению и не к лжи, а именно к ошибке и к неточности как к тому, с чем работает учёный, что сопровождает его неизбежно и постоянно. Точность научного языка — лишь подвид более общего качества: диалогичности научного дискурса. В этом смысле наука родилась из схоластики, но схоластика родилась из диспутов, которые «вдруг» появились в Западной Европе в эпоху, долгое время казавшуюся пустой, на рубеже I и II тысячелетий. Диспут как долг ученика и учителя, освоение искусства оказаться неправым, отвержение всякого заведомого авторитета, готовность признать своё поражение, не считая это унижением.

Здесь и обнаруживается глубинная, качественная связь науки и свободы, науки и демократии, науки и прав человека, науки, мира и прогресса. Научная деятельность невозможна без толерантности и диалогичности, которые отнюдь не есть компромисс с ложью, а есть средство преодоления лжи как в сфере познания, так и в сферах общения, самопознания и искусства. И в этом смысле слово «толерантность» — во всяком случае, в русском языке — очень хорошо как тест на адекватность. Если «толерантность» вызывает взрыв возмущения, крики про «дом терпимости», — значит, человек, даже если он учёный по роду занятий, не имеет отношения к науке. Наука как

раз есть исход из публичного дома, из мира сексуального насилия и всевозможного распутства в мир человечности, свободы, равенства перед законами, в мир общения — именно в общении реализуется равенство.

Что среди учёных многие, если не большинство, не понимают идеалов науки и даже могут быть против этих идеалов, совершенно нормально, естественно. В том и сила науки, что она — структура, система, в которой возможны чужеродные элементы, вынужденные, однако, следовать правилам этой структуры. А люди должны сознавать зазор между наукой и учёными и соответствующим образом выстраивать свои отношения, своё поведение, коммуникации между собою.

Наука потому принципиально важна для человечества и каждого человека, что в ней реализуется суть человечности: способность воспринимать чужое. «Быть собой» для человека означает умение быть с другим, оставаясь собой, не изменяя себе, но и не насилуя другого, не подгоняя другого под себя. Не быть прокрустовым ложем, но не быть и только ухом, локатором, а быть творческой личностью, познающей, любящей, свободной и освобождающей. Точность — и человечность, и свобода, и любовь — недостижима в одиночку. Человечность есть нечто, принадлежащее одновременно и всем вместе, и каждому в отдельности, но принадлежащее не как собственность, а как воздух, который нужно и вдыхать, и выдыхать, чтобы ты сам и другой человек могли говорить и могли быть услышаны.

ВСТАВЛЯТЬ!

От всей «Собаки Баскервилей» в сердце остался лишь крошечный эпизод. Доктор Ватсон находит убежище Шерлока Холмса по отблеску луны в стекле, вставленном в крошечное оконце. Узнав об этом, Холмс не без досады разбивает стекло, прибавляя: «Я позволил себе эту маленькую роскошь совершенно напрасно».

Новорождённый подобен огромному небоскрёбу со сплошным зеркальным остеклением. Он весело поблескивает, откликаясь на любое движение окружающих.

А потом разобьёт одно стёклышко — просто, чтобы дали поспать.

Разобьёт другое стёклышко — чтобы не узнали, куда он положил конфету.

В общем, «взрослым» считается обычно человек, у которого осталось два-три стекла, да и те основательно закрытые ставнями. Близким и любимым показывают — вот, у меня целых два стекла есть! Те от восторга ахают и завидуют.

Пусть в душе сквозняк и холод, зато никто не сделает нам больно! Никто не найдёт наши чувствительные места!! Никто не догадается, как нас больнее уязвить!!!

Не надо выбивать стёкла, надо их вставлять, едва разобьются. Мой дед Яков Васильевич Кротов в 1910 году приехал в ссылку в Акмолинск ровно на следующий день после страшного тут града. Половина стёкол в городе была выбита. А он — стекольщик. Вот было счастье и детишкам на пряники!

Стёкла надо вставлять. Обидят? Ну и пусть. Унизят? Что ж. Сделают больно? Мы никому не будем предъявлять претензии. Но лучше больно — и человек, чем не больно — и дом с выбитыми окнами.

КРУТИСЬ!

«Чаще поворачивай стиль» («*Saepe stilum vertas*», Гораций, Сатиры, X, 71). Латынь, античность, восковые таблички, на которых пишут палочкой... Вот эта палочка и есть «стиль», а поворачивать его почаще есть поэтический совет. То есть в буквальном смысле поворачивать стиль имело смысл, потому что один конец затуплялся, а второй еще был остер. А в смысле возвышенном — не прикипай к одному и тому же способу излагать свои мысли. Поэзия тут далека от реальности, потому что настоящий стиль можно было повернуть лишь один раз, а потом все равно надо было затачивать оба конца. Стиль литературный можно менять бесконечно.

Мудро! Человек-де, приобретая стиль, освобождается от немоты, от неспособности выразить именно себя, но очень скоро стиль сковывает человека, заставляет его мысли двигаться по невидимой колее. Теперь уже, чтобы освободиться, нужно сменить стиль. В сущности, литература здесь подчиняется общему закону жизни: человек склонен к окостеневанию, и полезно себя время от времени вздрючивать. Сменить стиль, имя, место жительства, принять монашество, а если ты уже монах, то посхимиться.

На эту мудрость глупость придумала достойный ответ, взяв за образец хамелеона. Да можно так крутить стилем, что в глазах зарябит, а скованность вся будет при нас. Потому и крутят, что ничем существенным заниматься не хотят. Вот русская история после 1917 года. По стилю — просто парад мод. Сперва позаимствовали стиль французский, с комиссарами, декретами и, естественно, френчами, что и означает «французский», правда, означает в английском языке.

Пришел Сталин и добавил к этому стиль американский, а отчасти и немецкий, поскольку сильных стилистических различий между гитлеровской Германией и негитлеровской Америкой не было. Пошли конвейеры в цеху, столовые с подносами по-вашингтонски в обеденный перерыв, «кормление грудью — почетная обязанность советской матери» и так далее.

Хитрость не в том, что волк умеет надевать овечью шкуру, это еще до основания Рима было отлично известно, и не в том, что волк может менять дубленки сколь угодно часто, отчего овцам только хуже. Хитрость в том, что сам процесс переодевания заворачивает овец и превращает их в ходячие дубленки.

Сколько слез, пота, отчасти и крови было пролито при Хрущеве из-за стилиг — овец, решивших, что свобода от волков — в стиле стрижки. Не в первый раз в истории России боролись за подражание западному стилю, но в первый раз это шло снизу, совсем снизу. Сколько сил ушло в бородку под Хемингуэя, брюки под Пресли и мировоззрение под битлов — а чем кончилось? Система преспокойно, с удовольствием переварила отечественные варианты битлов, и Пресли, и Хемингуэя. И пошли они работать в райкомы и редакции всевозможных «Правд» и «Зарей коммунизма», и стучали, попивая бренди и попыхивая трубочкой, точно так же, как отцы их стучали, похрустывая кожанками. А другие были порядочными людьми с Хемингуэем или без него.

Это не означает, что вовсе нет зависимости между формой и содержанием. Но зависимость эта скорее отрицательная: форма может только предупредить об опасности. Если от прохожего пахнет мочой, если он матерится и пошатывается, то вряд ли стоит спрашивать его, как пройти в библиотеку.

Правда, если он только матерится и пошатывается, не исключено, что он дорогу в библиотеку знает или даже в ней работает. В том-то и беда, что не так много заведомо гнусных стилей, и разумное существо, которым является человек, их обычно избегает. А как было бы хорошо, если бы все фарисеи оставались при том стиле, в каком их застал Иисус в первое свое пришествие. Но фарисеи давно освоили христианский стиль. Если бы все коммунисты оставались при брежневских бровях — но они быстро научились носить эротическую щетину и ругать коммунизм.

Стиль сам по себе ничего не гарантирует, но кое-какие выводы можно делать из динамики смены стилей. Тот, для кого стиль есть нечто чужое, вечно не попадает в такт и потому лихорадочно примеривает один стиль за другим. Там, где человек достаточно свободен, чтобы не подделываться под чужую жизнь, столетиями одни и те же цилиндры надеваются на скачки, одни и те же народные костюмы — на карнавалы. В России же «народный костюм» меняется чаще, чем

парижские моды. Когда российский рабовладелец и его обслуга пытаются подделаться под американца, они суетятся, они перебарщивают, опережая самых передовых нью-йоркцев. В конце концов, тот же поэт, который советовал чаще менять стиль, сам-то свой стиль не менял.

Если взять более нейтральную сферу, то средний русский интеллект имеет (если уж имеет) несравненно более совершенный компьютер, чем американский, — поновее, помощнее, понавороченнее. Это происходит в силу того же закона, по которому в американских трущобах чаще встретишь шикарный лимузин, чем там, где живут нормальные люди. Провинциал чаще лучше жителя метрополии знает все ее достопримечательности, а грабитель банка лучше знает слабые места сигнализации, чем ее создатели. Хороший актер-англичанин, подчеркивал Честертон, лучше изобразит на сцене китайца, чем настоящий китаец. Ведь если свободный человек думает больше о содержании, то несвободные люди соревнуются между собой в том, кто лучше изобразит свободного. Советские люди часто отлично имитируют отсутствие советскости — собственно, падение советской власти было частью такой имитации.

Держаться подальше от собственного стиля — вот сухой остаток от совета почаще поворачивать стиль. Не так важно ворочаться, как важно не засыпать. В качества образца можно привести, тысячу извинений, религиозных людей — не только православных. Не так важно, какой формы митра, тиара, капюшон, как важно не придавать особого значения ни этой форме, ни этой митре. Именно там, где люди встречаются с абсолютным Содержанием, не имеющим абсолютно никакой формы, — можно ведь и так определить Бога, — они научаются обращаться с формой. Конечно, не все и не сразу, заметим, опережая злопыхателей. Но видеть всегда только провал — тоже ведь стиль, и как раз тот, который никогда не рано выкинуть.

КАК БЫТЬ

Как быть, когда рядом страдают, а ты не можешь помочь? Голодают по своей воле и не по своей. Кто-то в предсмертной агонии. Кто-то просто тоскует, но эта простотоска доводит иногда до смерти быстрее голода. Как справиться с ощущением бессилия? С самим бессилием не справиться — оно факт. Сделать можно очень и очень немного — не идти на совет нечестивых, не ездить смотреть игру любимой футбольной команды в страну, которая убивает, послать деньги на помощь голодающим. Но это очень мало. Самые большие успехи всё-таки не отменяют глобального бессилия уничтожить зло.

Когда ничего нельзя сделать, надо сделать самое важное: быть. Не быть — не вопрос, все мы чемпионы по небыванию.

Быть так, чтобы окружающие понимали, на чьей ты стороне.

Быть без истерик, наоборот — со спокойствием отчаяния.

Быть так, чтобы окружающим становилось легче — и если ты от них чего-то требуешь, а требовать надо, то требовать, заранее прося прощения, что ты не можешь не требовать, требовать не угрожая, не шантажируя, а предупреждая, что ты будешь хорошо относиться к людям и миру, даже если они не согласятся с твоими требованиями и призывами.

Умереть можно, ненавидеть и отчаиваться нельзя. Не корить себя за бессилие, а выращивать из этого бессилия доброту — доброту требовательную и ласковую, доброту, готовую от всего отказаться и сдохнуть под забором, но радующуюся любому проявлению настоящего, подлинного. Тем более, не корить других за бессилие, а стараться соединить своё бессилие с бессилием других так, чтобы никакая сила не могла преодолеть бессильного порыва к человечности.

В ЗАЩИТУ ТАЛАНТА ОТ КРАТКОСТИ

Короткая реплика «сильнее», однако, вспоминается древнееврейское обозначение силы как «рога» (абстрактных терминов тогда еще не было) Почему символ силы — это длинный рог, а не рожок? . Короткая реплика сильнее длинной, а картиночка с изображением улыбки или возмущения сильнее короткой реплики. Почему же человеческое общение не скукоживается до демонстрации среднего пальца в случае неудовольствия, большого пальца в случае удовольствия и двух пальцев в случае торжества? Почему слова плодятся и размножаются?

Потому что короткое легче подделать. По этой же причине и оформление купюр все время усложняется. Нетрудно сделать рог из золота, а живого быка не спротезируешь. Краткая реплика — почти непробиваемая маскировка для невежества, злости, обмана. «Говори кратко, дурак, за умного сойдешь». Если бы все греки исповедовали идеал Лаконики, не было бы ни Гомера, ни Платона с Аристотелем. Краткость торжествует в военной речи — но военная речь это недоречь, это возвращение в рычание.

Да, короткие реплики сильнее. Но кто сказал, что в беседе главное — сила?! Это все равно, что сказать, что в сексе главное — скорость. «Наше дело не рожать — сунул, вынул и бежать». Стремление к краткости в коммуникации — как стремление к преждевременной эякуляции. Конечно, есть и другая крайность, описанная известным сексопатологом И.Губерманом: «Просила тема: «Глубже, глубже!», — а он был в силах только чаще». Однако, и от этой беды краткость сама по себе не спасает, поверхностной может быть и долгая речь, и обрывистая. Где начинается человеческое — а речь и есть человеческое — там заканчиваются всякие количественные критерии.

В ЗАЩИТУ ТАЛАНТА ОТ ЗАРЫТОСТИ

«Талант сам пробьёт себе дорогу». Угу... Щас! Заживо зарытый в землю талант пробивает, пробивает... Когда пробьёт, это уже будет не талант, а жаждущий крови вампир.

В России до сих пор повторяют эту фразу и, что хуже, живут по ней. Это можно было бы назвать «дураки и дороги» — то есть, подлецы уничтожают дороги, чтобы совершить свой путь могли либо пресмыкающиеся, которые проползут среди ям и камней, либо пресмыкающиеся, которые обзавелись личным самолётом (в фольклоре таких называли драконами). Тяжёлое наследие неправильно понятого дарвинизма. Якобы борьба за существование помогает талантам. При этом, разумеется, талант — это тот, кто способен выжить в любых условиях.

С этой точки зрения самое талантливое существо на Земле — какая-нибудь бактерия, способная миллиард лет проспать в ледниках и проснуться, когда уже радиация от ядерной войны, уничтожившейся человечество, рассосётся.

«Талант сам пробьёт себе дорогу», — говорил чиновник, замуровывая камнем вход в гробницу Иисуса.

Не нужно зарывать талант в землю — во всяком случае, чужой. Нужно помогать таланту. Бог только этим и занимается с начала сотворения мира. Творец создал ситуацию, в которой возможны дороги и таланты. Когда два таланта сбежали в беспутье, Он их благословил, снабдил всем нужным на дорогу и в конце концов послал Иисуса — пробивать талантам путь к истине и жизни. Чем закончилось, хорошо известно — воскресением и вознесением. Присоединяться или нет — личное дело каждого, но другим — не мешать. Что не означает принудительного крещения всех, кто слабее тебя. Что не означает пробивать дорогу инквизиции, как не означает помощь таланту и покупку водки для художника или наркотика для математика.

Талант не должен пробивать себе дорогу, и нельзя заставлять другого пробиваться. Совершенно достаточно того сопротивления, которое заключено в космосе как таковом и которое преодолевает всякое творчество.

Каждому таланту своя дорога, и первый талант, который нужно в себе вырывать — талант спокойно относиться к таланту другого, к тому, что у другого своя дорога, и, если понимаешь, в чём эта дорога, и если просят, то помочь, а если не просят и не понимаешь, то всё равно иногда помочь, помочь тайком, помочь не для другого, а чтобы самому не оказаться в яме.

ПРОТИВ ЧУВСТВ

Защитники гитлеровской Олимпиады 1936 года говорили, наверное, как и в наши дни по схожему поводу, о том, что спорт не виноват в том, что мир лежит во зле. Не спорт поверг мир во зло. Более того, спорт борется со злом уже потому, что в серости будних дней пробуждает сильные чувства. Не только же про эротические переживания можно сказать «до болезненности острые», но и про переживания как спортсмена, так и, главное, болельщиков. Свежесть глаз и полноводье чувств.

Было бы ханжеством сказать: хотите острых чувств — пожалуйста от ликующих, праздноскакающих в стан погибающих. Хотите — в дом престарелых, хотите, наоборот, в детский дом. Вы сопереживаете юной гимнастке — поверьте, переживания ребенку, которого изнасиловал воспитатель, тоже довольно острые.

Только вот незадача: ребенку ведь именно так нужно помочь, что он захотел и спортом заниматься, и болеть за спортсменов. Конечно, многие люди, которым помогли с реабилитацией, сами посвящают себя помощи другим, но все же, к счастью, это вовсе не обязательно, это благодать, а в идеале, чтобы несчастных вообще не было. Иначе мы рискуем впасть в грех ханжества, которым так наслаждались многие христиане. Да и наслаждаются. Да и не только христиане. Спешите делать добро — а на шутки нет времени! Как можно наслаждаться музыкой Бетховена, когда...

Тут лучше читатель пусть сам подставит, что ему велит совесть. Избиение тюленьих детенышей дубинками ради ценного меха... Голодающие дети... Истекающие кровью борцы за свободу...

Делать добро — добродетель, вознаграждаемая жизнью вечной, но не сама вечная жизнь. А вот смеяться, радоваться и чувствовать прочие острые, но при этом безболезненные чувства — вполне часть вечной жизни. Вечная жизнь, она ведь не антоним жизни земной (как полагают ханжи), она её часть (как полагал Христос, Который знал в вечности толк, уж поверьте — или уверуйте).

Не верьте, напротив, тем, кто говорит, что Иисус никогда не смеялся, не радовался и не испытывал прочих острых, но приятных чувств. Нигде этого не написано. Более того: Он пировал с грешниками (а серьезно пировать невозможно, во всяком случае, с грешниками), за что и был критикован. А критиканам ответил просто: Иоанна вы ругали за аскетизм, Меня за неаскетизм, на вас не угодишь.

Вечная противофаза — Бог испытывает острые чувства на кресте, люди тупо глазят. Бог веселится с покаявшимися, люди подпускают издевательские шпильки.

На самом деле, никакой антитезы между остротой чувств и добротой сердца нет. В игольное ушко проходят именно острые чувства! Христос пришел свести на землю огонь Духа, а не психическое выгорание от мировой скорби по чужим проблемам.

Лукавство же тех, кто защищает острые олимпиадские чувства, в том, что вовсе там не острые чувства. Истерика это, а не острота. Когда человек старательно прячется от реальной жизни — не от реальных проблем, а вообще от реальной жизни, с ее удовольствиями, радостями, смехом — тогда он и начинает вдруг испытывать острые чувства на стороне. Это ещё прелюбодеяние называется.

Четыре года люди живут как тупое сытое стадо, ворчащее на пастухов, и вдруг по команде начинают испытывать острые чувства? Такого не бывает. Призывать таких людей идти утешать несчастных — упаси Бог! Их самих нужно утешать и лечить, их на пушечный выстрел к страдающим детям подпускать нельзя.

Как избирательная правда есть абсолютная ложь, так избирательная острота чувств есть абсолютное бесчувствие. Да здравствуют острые чувства — но каждодневно, ежеминутно, благо всегда есть причина, побуждающая остро чувствовать, и горе нам, если мы не видим этой причины. Имя этой причине — человек. Не только больной человек, но и здоровый человек, и особенно здоровый. Не только бедняк, но и богатый, сытый, веселый человек. Не рекордсмен, а просто мен или вумен. Не победитель и не проигравший, а просто ближний. Не нуждающийся в нас, но готовый улыбнуться нам — лишь бы наши острые чувства были заточены, а уж точилка есть у каждого, только пользуйся, а не обманывайся, что оно тебе не нужно.

ЗА ЦЕНТР ЛЁГКОСТИ!

Есть центр тяжести у материального, есть и у духовного. Центр тяжести всегда — между крайностями. Это объясняет, почему вполне разумные люди истово веруют в русских младенцев, которых кушают евреи, распинают украинцы и насилуют норвежцы. Это обычные люди, у которых, как у всех людей, есть проблемы. Часто, даже обычно — более тяжёлые проблемы, чем у других людей. Безработица. Маленькая зарплата. Жизнь под кровавой гебнёй. Супружеская неверность, а то и развод, в общем — предательство. Иногда чужое, чаще — своё, которое труднее вынести и важнее забыть. Свой грех жжётся и колется, лежит «камнем на сердце». Где тогда центр тяжести?

Чужой грех — отличный балласт, позволяющий переместить центр тяжести пониже, подальше от своей совести. По тому, какой тяжести чужой грех беспокоит человека, можно понять, сколько весит его собственный грех, который он пытается уравновесить. Пропорция обычно не менее одного к десяти. Если человек изменил жене, мало проку разговаривать о чужих супружеских изменах. Это лишь подольёт масла в огонь. Продуктивно поговорить о том, как другой изменил отечеству, устроил фашистскую хунту, изнасиловал, убил и съел младенца.

Отвлекающий манёвр должен быть не на 10 градусов, не на 20, а на все 180. Только очень глупый и мелкий вор, карманник-щипач, кричит «Держи вора!». Кто крадёт миллиарды долларов из государственной казны, кричит «США начали Третью мировую войну!» Кто изменяет жене, пишет трактат не в защиту супружеских измен, а о скором конце цвета. Поэтому в дело идут не обычные, тривиальные чужие грехи, а какие-нибудь феерические, невероятные, каких даже сатана не выдумает.

Это вполне рациональное поведение, хотя оно состоит из абсолютно иррациональных элементов — паранойи, фобий, обмана и самообмана. Человек, освоивший перенос акцента со своей вины на чужую, твёрдо стоит на земле, ничем его не сбить. Он знает, что во-

круг враги, лжецы и убийцы, которых раздражает его белая пушистая сорочка. Он — над ними, он вообще над схваткой, центр тяжести расположен низко настолько, что человек сохраняет равновесие в любой ситуации, непробиваем, хладнокровен, в общем — столь любезный ныне многим русским интеллектуалам Великий Инквизитор.

Известен так же как Иудушка Головлёв. Смердяков, успешно прошедший курс психологической реабилитации. Иоанн Предтеча или Иисус пузырятся, нервничают, обзываются («порождения ехиднины» не Путин сказал) — а эти невозмутимы, следовательно, правы. Как прав всякий палач, как неправа всякая жертва, потому что визжит, когда ей под ногти загоняют иглы.

Кроме центра тяжести, есть и центр эгоизма, бездумности, когда человек сам для себя — весь мир. На окружающих наплевать, чужие беды разводятся руками и ногами. Иногда и свои тоже — но от этого никому ничуть не легче. Легкомысленный эгоист, смиренный эгоист — тоже эгоист.

Возможен, однако, и центр лёгкости. Он находится между всё той же головой — и небом. «Небо», разумеется, понятие — в отличии от земли — несуществующее. Земля бесспорна, небо — безгранично, и одно с другим несовместимо. Можно избавиться от греха, зарыв его в кучу чужих грехов. Конечно, при этом и себя зарываешь, зато — непоколебимость! основательность!! А можно не избавляться от греха, а вместе с ним сигануть куда повыше. Ну нет такого свинства, у которого не было бы своего дуба! Поднять рыло! На дуб не взобраться, но зато центр тяжести будет между самым верхним желудём и своим рылом. Летающей свиньёй, конечно, от этого не станешь, но ведь центр тяжести — это не про полёт, это про любовь или, скажем на первый раз осторожнее, про условия любви — трезвость, чтобы не видеть у других мнимых грехов и видеть свои реальные, и прощение, чтобы прощать другим их реальные грехи, а себе не мешать принимать прощение от других. Эти условия — зависят от нас, как поставить капкан зависит исключительно от охотника. А уж попадёт любовь в этот этический капкан или нет, не от нас зависит.

ЗА КОММУНИКАЦИЮ!

«Информационная революция» — лишь прелюдия к революции коммуникационной. До коммуникационной революции далеко — тому свидетельством то, насколько пока ещё средства коммуникации являются самоцелью. Мы обращаемся с ними как мартышка с очками. Доверяя государству «регуляцию» средств коммуникаций — цензуру в ее самых разнообразных формах — мы словно подставляем свои очки под пескоструйный автомат. Коммуникационная революция означает, что каждый сам отвечает за регулирование своих коммуникаций.

Коммуникационная революция, конечно, связана с информационной и с образовательной. Так и образование тоже должно все более становиться самообразованием — не в смысле упразднения университетов и школ, а в смысле пользования образовательными институтами по своей воле, под свою ответственность, а не ради заработка и выживания.

Человек отвечает и за свое образование. Он не имеет права ссылаться на то, что не все — профессиональные футболисты. Во-первых, разделение труда касается лишь труда, а образование — не труд, а часть личности, часть жизни. Во-вторых, конечно, и в образовательной сфере есть разделение ответственности, есть специализация. Лень, однако, — не специализированное занятие, а просто самоубийство. Да и лукавство — все эти разговоры про то, что нельзя объять необъятное. Так говорят люди, которые вовсе не агностики, которые очень уверенно судят и о политике, и об этике, и об истории, то есть о том, что и есть необъятное.

Да, не все — атлеты. Когда надо передвинуть тяжелый шкаф, безрукий зовет на помощь рукастых. Когда не инвалид — человек с исправным интеллектом — заявляет, что доверяет специалистам решение нравственных вопросов (которые всегда завязаны на «гуманитарной сфере» — той же истории, прежде всего), он лукавит. Он

сам всё решает и лишь подыскивает тех «экспертов», которые подтверждают его мнение.

Ловушка в том, что опознать человека без обеих ног, который не годится в футболисты, просто. Но как опознать интеллектуального инвалида? Как опознать плохого историка, журналиста, политика, философа, — в общем, гуманитария? О, это вовсе не так уж сложно, как кажется. Признаки известны. Если политик матерится — всё, он плохой политик. Философ или журналист — могут материться, но ясно, что их речь не может состоять из одного мата. Есть, есть и тут признаки, маркёры, копыта и уши, которые торчат из-под дипломов, карьерных успехов и прочей белиберды.

Я в своем интернет-общении отсекаю не только матерщинников и хамов. Избегать ругани и агрессии, — условие необходимое для общения, но далеко не достаточное, особенно в русском коммуникационном пространстве. Трагедия ленинизма именно в том, что искалечена, отравлена была и гуманитарная сфера, и отравление это продолжается, часто оно самовоспроизводится, хотя власть свою лепту вносит по-прежнему. Количество псевдо-гуманитариев, псевдо-учёных — велико.

Понятно, что «псевдо-учёный» не идентичен «лже-учёному». Лжеучёный это волк в овечьей шкуре, а псевдо-учёный это овечка на карусели. Карусель кружится, музыка играет, лампочки сверкают, овечка улыбается зазывно и готова тебя везти, — но никуда приехать на ней решительно невозможно. Не съест, не покусает, но закружить может. Гуманитарная наука и есть соскок с такой карусели, и соскок этот не так лёгок. Освободиться от тирании иногда труднее, чем от имитаторов и манипуляторов.

Надо понимать, что псевдо-гуманитарии очень часто вполне хорошие люди. Они могут быть отличными гражданами, родителями, друзьями и т.п. Но коммуникация — это процесс, качественно отличный от дружбы, любви, совместной политической активности. Очень редко — к сожалению — в одном и том же человеке совмещаются друг, любимый, коллега, соратник и спутник в тяжелом и опасном путешествии, которое называется наукой (и тут уже не так уж важно, естественные науки или гуманитарные). Каждый сам и определяет, как, с кем, в каких формах он ведёт коммуникацию. «Без обид — ничего личного». Речь идёт всего лишь о судьбах космоса и человечества.

С человеком, который образован по-настоящему — то есть, не только имеет интеллектуальный багаж, но и умеет с ним обращаться — разногласий не больше, а меньше, чем с человеком, который образован. То есть, обсуждать с ним — вечности будет мало. Остаться без собеседника — не грозит.

ЗА ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ СРЕДСТВ!

Был я малыш — писал совсем недолго перьевой ручкой. Невероятная гадость! Мама меня ругала за чернила на школьной форме. Единственная компенсация — пёрышками было здорово вырезать мягкость из яблока, переворачивать и делать ёжика.

Классе в третьем появились автоматические перьевые ручки. Чуть лучше, хотя набирать чернила всё равно было противно и мама всё равно ругала за пятна на форме.

Поскольку школа была для мидовских деток (я там был «по месту жительства» на Плющихе), то классе в пятом появились шариковые ручки, привозимые прямо из-за границы. Это была сенсация почище айпадов. Учителя ярились, считая, что шариковые ручки портят почерк и усиливают классовые антагонизмы.

Класса с седьмого я научился печатать на пишущей машинке. Не «Эрика», «Грома», но разница невелика. Как я завидовал знакомой, которая однажды показала мне миниатюрную пишущую машинку размером с две ладони. *Small is beautiful!*

Когда я поступил в университет, мама купила огромную пишущую машинку — количество экземпляров (и доход) выросло вдвое! В конце 70-х, напрягшись, я купил электрическую пишущую машинку. Это была революция, у меня до сих пор хранится листок, на котором мама пробовала это чудо. Насколько же легче!!!

В 80-е пошли слухи о машинках с электронным экранчиком. Никто их не видел, описывали как аборигены самолет.

Первый ноутбук, который я увидел, «тошиба», был привезен в подарок отцу Александру Меню, но он, кажется, даже не успел его раскрыть. Компьютеры, конечно, я видел и до этого — оба брата программисты. А мне первый компьютер подарили норвежские протестанты, дай им Бог здоровья. Он жужжал как вертолёт, но не взлетал, а вполне нормально работал. Амстрад.

Неизменным оставалось одно. Всегда перед глазами были какие-то инструменты для труда, превосходящие возможности трудящегося или на самом пределе этих возможностей.

То же самое с носителями информации. Сэкономленные на обедах деньги я тратил на книги, которые были безумно дороги по меркам школьника. Сейчас я иногда вижу аналоги тех книг в магазинах — они опять безумно дорогие и по моим сегодняшним меркам.

Директор библиотеки конгресса Джеймс Биллингтон уверял меня однажды, что в ближайшем будущем вся эта библиотека уместится в объеме долларовой монеты. Он был искренен и, в целом, прав. Но не сообщил он одной важной детали: сколько эта «монета» будет стоить. Более того: кажется, идёт к тому, что огромное количество информации будет не продаваться, а распределяться властью (не только государственной) по своим — всегда гнусным — соображениям.

Что ж, кто предупреждён — тот вооружён. Опасность обозначена, за работу, товарищи! Трудиться не для того, чтобы купить себе орудие труда, а чтобы всегда были какие-то недостижимые средства производства. Пусть их! Пусть будут!! Не производство для средств, а средства для производства, и пусть нам лучшим надгробным памятником будет витающий в электронных облаках электронный текст.

ЗА ВЕЧНОЕ СТУДЕНЧЕСТВО!

«Не надо переделывать мир». «Во имя прогресса совершались величайшие преступления XX века». «Человек подлец, если в студенческие годы он не был социалистом, и подонок, если в зрелые годы не стал консерватором».

Человек подлец, если он совершает подлые поступки, и социализм тут ни при чём. Величайшие преступления двадцатого века были совершены во имя нацизма и коммунизма, а вот боролись с этими преступлениями во имя прогресса. Мир переделывать не надо, но оспу победить – это ещё не означает переделать мир, это означает победить оспу. Рак надо стремиться победить, нищету надо стремиться победить, зубы надо чистить, носки надо класть так, чтобы они не раздражали любимого человека.

«Не надо переделывать мир» — демагогия генералов, собирающихся бомбить мир. Убить кого-нибудь – это, с их точки зрения, не переделка мира, а поддержание его в стабильном состоянии. «Не надо раскачивать лодку» кричат обычно перед тем, как потопить чужой корабль. «Пусть всё остаётся как есть» — и казнят кого-нибудь ради этого, но ведь казнимый переводится из «есть» в «был».

Мир не надо «переделывать». Он и сам ежеминутно переделывает себя. Мир живой, динамичный, мир слишком сложен, чтобы его «переделывать». Учёные это знают, генералы – нет. Генералы думают, что творчество – это «переделка мира», консерватизм – закатывание Вселенной в жестянку, а «Сикстинская мадонна» — рекламное объявление. То ли дело атомный взрыв – этот триумф порядка, креативности и стабильности.

Истина не зависит от возраста. «Подлец, кто в студенческие годы не завтракал, дурак тот, кто в зрелые годы не ужинал». «Подлец, кто, встретив Христа, не стал Его учеником, дурак, кто, встретив Каиафу, не продал ему Христа».

Зло в мире прежде всего – не от сатаны, а от самоубивания, от согласия не жить, а прозябать, от предательства идеалов. Беда юности –

не высокие идеалы, а эгоизм. Так ведь «зрелость» может быть зрелостью эгоизма – и кто цинически оплёвывает собственную и чужую юность, тот не мудр, а подл. Надо ухаживать за верой в высокие идеалы, оберегать её от своего и чужого эгоизма, не бояться быть вечным студентом, бояться стать вечным преподавателем и живым напоминанием о смерти заживо.

ЗА СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ ФОРМ И ОФОРМЛЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЙ!

Форма и содержание не просто могут жить друг без друга. Иногда форма и содержание мешают друг другу. Что уж говорить о случаях, когда налицо фальсификация формы (или содержания, или обеих разом).

Знаменит рассказ о Мандельштаме, который выставил из дому графомана, жаловавшегося, что его стихи не печатают. «А Гомера печатали?!» — закричал Мандельштам.

Стихи Мандельштама четверть века распространялись в списках. Это не было единство формы и содержания. Стихи Мандельштама вполне заслуживали опубликования, они коммерческий выгодный продукт. Просто рынок был подменен волей правительства-партии. Форма была, книги издавались, но литературы в этой форме не было. Подменная литература сделала подлинную литературу подпольной.

Ровно то же самое происходит часто и в экономике. То, что называют «госкапитализм» — это подмена и формы, и содержания. В госкапитализме нет ни капитализма, ни государства, есть произвол и насилие. Настоящие политики и настоящие капиталисты при госкапитализме живут в серой зоне (хорошо, если они живут, могут и посадить, и убить), благодаря им и живет страна.

Что уж говорить о партиях и митингах! Российский деспотизм возможен благодаря тому, что его подданные согласны с властью: допустимы только зарегистрированные митинги.

Начиналось еще в начале 1990-х годов, когда люди возмущались «несанкционированной» торговлей. Опасно, можно отравиться, купить некачественное! Что ж, вот и получили пирамиду контролеров, при которых качество вообще невозможно. И травятся, и колются, но предпочитают рисковать жизнью, чем жить свободно.

Форма убивает содержание: люди намерены свергнуть деспотизм, соблюдая деспотические запреты на свободу слова, собраний и совести. Отсюда и отчаяние: правила регистрации партии таковы, что за-

регистрировать партию можно лишь, пойдя власти на уступки. Но, во-первых, есть как минимум одна партия, которая и зарегистрирована, и европейская по духу и букве программы— вступай, действуй. Но— боязно! Во-вторых, с каких пор свобода нуждается в регистрации?!

Высшего напряжения соотношение формы и содержания достигает, естественно, в любви и сексе. Не потому современные люди избегают «оформлять отношения», что они распутнее и безответственнее людей прежних эпох, а потому что есть горький опыт того, как социальные формы мешают личному содержанию. Утром стулья, вечером деньги— да! Но что в любви стулья, а что деньги? Сперва венчание, благословение родителей, хождение вокруг куста, ЗАГС, а потом брак— или наоборот? В течение тысячелетий не брезговали идеей «стерпится— слюбится». Брак— деньги, любовь— стулья. Были б деньги, стулья купим. Э нет, друзья, все наоборот. Любовь— деньги. И не только платоническая любовь, но и любовь как любовь— с детьми, кастрюлями, болезнями. Брак без регистрации— не «пробный брак», а вполне себе настоящий брак, как митинг без регистрации— не «пробный митинг», а подлинное проявление свободы собраний, из которого со временем вырастут, можно надеяться, и зарегистрированность с демократией.

ЗА ДЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ УМНОЖЕНИЕ!

Амёбе в русском языке не повезло, она символ бесхребетности даже в большей степени, чем любое беспозвоночное.

Бесхребетность плохо, бесхребетность это зло беспринципности, конформизма. Но амёба не бесхребетна! Бесхребетным может быть лишь тот, у кого есть хребет, а он им не пользуется! Вяленая воблушка, премудрый пескарь, медведь на воеводстве...

Да, и медведь на воеводстве, хотя он в положении, прямо противоположном пескарю с воблой, он начальствующий, а они просто-подчинённые. Медведь на воеводстве даже более воплощённое зло, чем какой-нибудь дракон, пославший этого медведя воеводствовать. Драконы чижиков не едят, а медведи едят, потому что дракон никому ничего демонстрировать не должен, а медведю должен демонстрировать дракону, что способен пожрать, но, конечно, не дракона, а разве что чижика.

Конечно, амёба — это не добро. Но амёба и не зло никоим образом. Жить в измерении «добро/зло» само по себе блокирует возможность быть добрым. Повелевать добром, знать добро, делать добро, — это не доброта. Почему Льва Толстого, человека исключительно доброго, даже единственного доброго человека среди русских писателей, потому так возмущала филантропия, делание добра, что он остро ощущал: доброта не делает добро. Вполне можно повторить, чуть изменив, меткое слово Толстого: «Доброта — последнее прибежище негодяев». Доброта беззащитна перед злом, доброта может стать прибежищем для зла. Такая доброта не стесняется думать (а то и говорить): «Они недобрые люди, при всех своих достоинствах, а я добрый человек, при всех своих недостатках».

«Я добрый человек!» — единственное утешение человеку, который всю жизнь работал на заводе по производству колючей проволоки. Мухи не обидел, ласковый и нежный ко всем был.

«Я добрый человек!» — единственная причина для самоуважения рабочему, который всю жизнь производил очень скверные автомоби-

ли, где-то что-то постоянно недокручивая, криво приделывая, подворывая, чтобы компенсировать низкую зарплату.

«Я добрый человек!» — последнее прибежище всех, на ком стоят бесчеловечные режимы, от палачей и солдат до паспортисток, от заведующими разнообразными отделами до спивающихся и праздно болтающих, не сделавших в своей жизни ни единого доброго дела, но, что правда, то правда, мухи не обидевших.

Только вот доброта не мухами измеряется.

Злые люди даже чаще делают добро, чтобы хоть как-то уравновесить или даже вообще обезвредить свою злость, злобу и бесчеловечность. Подарок легко может оказаться троянским конём. Тем не менее, нормальный человек и принимает подарки, и делает подарки, потому что нормально быть живым, и в этом отношении амёба есть единица живости.

Амёба — первая в эволюционной веренице — без раздумий делает иное, не доброе и не злое, что человек делает редко и через пень колоду, если вообще делает: она делится собой. Как шутят биологи, жизнь отличается от математики тем, что в жизни умножение и деление одно и то же действие. Собственно, ничего, кроме способности делиться, об амёбе как меме доброты лучше и не знать. Была одна амёба — стало две амёбы. Амёба раздвоилась. Она не отбросила тень и уж тем более не послала эту тень к девушке в окне напротив, она просто подарила жизнь другому. Не слабый подарочек! При этом — что характерно — для доброты — она осталась собой. Никакого самопожертвования. Жизнь не в том, чтобы дарить частицу себя, не в том, чтобы жертвовать собой, а в том, чтобы творить, созидать, удваивать себя и выделять из себя всё новое и новое, выделять избыток и этим освобождать место для нового бытия. Жизнь — не от нужды, жизнь — от избытка жизни.

Самопожертвование, конечно, иногда нужно, но оно всё-таки добро, а не доброта. Акт, а не состояние. Частица, а не волна. Колос, а не поле. Доброта же есть поле — иногда заснеженное, иногда поросшее сорняками, но всегда поле для другого. Поле для себя это лужайка, луг, чаще пустырь или даже пустыня. Амёба же поразительным образом удваивается. Была одна, стало две, причём вторая абсолютно свободна и самостоятельна.

Добро и зло спорят о том, как поделить мир, чтобы всем было хорошо, всем досталось поровну, а доброта просто удваивает мир. Если

нужно, утроит, учетверит. Амёбы хватит на всех, не шагренева кожа. Ах, не всем нужна амёба? Такого добра у самих хватает? Так ведь речь не о добре, а о доброте — дьявольская разница, как сказал Пушкин. Доброту может проявить и дьявол, а вот добрым ему не стать. Поэтому амёбу в себе надо выращивать, холить и лелеять, чтобы в нужный момент просто увеличить мир собой, не переставая собой быть.

ПОШЛИНА ПОШЛОСТИ

Чему уподобить те истины, которые вдохновляли и вдохновляют обывательскую часть души? Подобны они молочным зубам. Зубы эти можно хранить, умиляться им, но кусать ими нельзя. Их даже нельзя вставить взамен выпавших коренных зубов.

Наугад берём с сайта «Мудрые цитаты»:

«Смирись с тем, что есть,
Не жалей о том, что было,
Имей веру в то, что будет».

Прямо каждая строчка — навыворот настоящей мудрости, религиозной и нерелигиозной, которая о том, что нельзя смиряться с тем, что есть. Да и нет его, «настоящего», есть только миг выбора и творчества. Смиряться просто некогда, фонтанировать надо! Надо каяться, в том, что было. Если нечто было и прошло, то это был грех, добро никогда не становится прошлым. Нужно иметь веру в Бога, Который не «будет», а именно «есть» — причём Бог это такое «есть», с которым нет нужды смиряться. Перед Богом смиряться — пожалуй, но это немножечко другое дело.

Что уж говорить о фразе:

«Все призывают оставить нашим детям планету в лучшем состоянии, чем она есть. Почему не призывают оставить после себя на планете детей лучше, чем были мы сами?»

Отдать своих детей — всегда преступление. Неважно, отдаю я своих детей в жертву ложному богу, истинному Богу или планете Земля. Не человек для планеты, а планета для человека. Разве «планета для человека» означает, что можно гадить? Прямо наоборот. Если я — песчинка на Земле, так я из принципа будут гадить! Не хочу быть песчинкою земною! А если я — царь Земли, то буду царствовать с умом, с чувством, с расстановкой.

На десерт самое сладкое:

«Когда ты делаешь то, что тебе нравится, это свобода. Когда тебе нравится то, что ты делаешь, это счастье».

Благодарю Тебя, Господи, что я счастлив лишь изредка и уж точно не тогда, когда я что-то делаю! Когда сделал, сбросил с плеч — бывало. И счастье, и свобода. Но когда делаешь, тут не до счастья. Оно, наверное, есть, но не ощущается — а что ж это за счастье такое безалкогольное? Так потому счастье и не цель жизни, что жизнь несводима к ощущениям, иначе самым живым существом в мире была бы пластинка фотоэлемента.

Право на счастье, конечно, есть. Но это такое жалкое и убогое право, что о нём и говорить стыдно. Где-то между правом на курение в своей постели и правом переходить улицу на зелёный свет. Вот я не курю в постели (как и не в постели), я не бросаюсь через улицу, как только завижу где зелёный свет — что ж, я несчастлив?

Кстати, и свобода — вовсе не в том, чтобы делать то, что нравится. Взять простейшую свободу — голосовать. Разве может нравиться выбор между двух зол? Это всё равно, что ловить кайф от завязывания шнурков. Да что уж там — между нами, демократами, голосование больше напоминает визит к стоматологу. Свобода собраний — вот счастье-то! Да век митингов не видать! Пивко с воблой без ущерба для здоровья — это да, но это при любом деспотизме можно, а если продать пару Иисусов, то можно и коньячок с шашлычком.

«Нравиться» — от слова «нрав», «характер». Два шага вперёд те, кто считает себя равным своему характеру?... То-то! Стиль — это человек, но человек-то не стиль! Постмодернизм не марсиане придумали, а люди, наконец-то освободившиеся от рабства собственным привычкам, предпочтениям, целям. Это не означает, что целей быть не должно, но цели, как и планета Земля, — средство. А если иначе, то уже не цель, а средство, ставшее целью, то есть, смертный грех и конец всему. Так что делать то, что нравится, — отчего бы и нет, если от этого никому не плохо, а кому-то даже и хорошо, хотя бы и мне? Но считать это свободой — всё равно, что считать почёсывание там, где чешется, счастьем.

ЗА МАКСИМИЗАЦИЮ ЖИЗНИ!

Америка внесла в культуру два вклада: кино и книги о самосовершенствовании. Конечно, кино — всего лишь развитие многовекового европейского стремления к созданию виртуального мира, а книги о самосовершенствовании — развитие жанра «наставлений правителям», но развитие со скачком. Между учебником для князя и самоучителем такая же пропасть как между пушкой и шприцем, хотя принципы действия одинаковые.

Одно из популярных нынче пособий провозглашает принцип «минимизации жизни». На первый взгляд, и это — всего лишь повторение Генри Торо, который всего лишь повторение монашеской и евангельской проповеди. «Минимизация жизни», однако, носит несколько иной характер. Вдохновляется не служением другим, а заботой о себе. Мне, любимому, не нужно много. Мне полезно жить в просто обставленной комнате, не пялиться в телевизор или висеть в социальных сетях, а играть с ребёнком и кушать шашлык с друзьями. Более того: этот «минимум» — удел человека состоятельного и общества зажиточного.

Такая минимизация — не уход в пустыню, расставание с благами цивилизации, а использование по максимуму благ цивилизации, причем очень дорогих. Иметь тонкий и лёгкий сотовый телефон — это не минимизация, это минимализм. Это роскошь. Дом почти без мебели, сплошь из стекла, просторный, с крышей из фотоэлементов, наполненный светом и воздухом, — это очень дорогой дом. Выбор между социальными сетями и барбекю — это выбор человека, у которого есть деньги, силы и время как на болтовню виртуальную, так и на болтовню реальную.

«Минимизация жизни» построено по той же логике, что и «блаженны нищие духом». Однако, «нищие духом» вызывает недоумение, а «минимизация жизни» — понятно, что речь идёт вовсе не о минимизации, а о максимизации жизни и минимизации нежити. Минимизируется то безжизненное, что есть в жизни. Суета минимизируется,

не жизнь. Что делать — язык есть продолжение человека, и парадоксальность языка отражает парадоксальность человека. Если человек вдруг не понимает «нищие духом» или понимает неверно (как «глупцы»), человеку стоит над собой задуматься — не слишком ли он минимизировал восприятие языка (и, соответственно, реальности). В конце концов, есть же разница между скепсисом, критическим мышлением и атеизмом — и если критическое мышление это блаженство нищих духом, минимизация лжи, обмана и самообмана (полезная и верующим), то атеизм — это минимизация терпения, открытости и чуткости.

См. другие книги и эссе Якова Кротова: yakov.works